

Сергей Дурьин

Тихие яблони

Вновь обретенная русская проза

3-издание

Москва
Редакция «Встреча»
«Никея»
2018

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Сударь кот	14
Часть I	14
Часть II.....	67
Сладость ангелов	221
Бабушкин день	252
Троицын день	262
Сказание о невидимом граде Китеже	285

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами книга Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954) — писателя, ученого, священника и педагога. В нее вошли повесть «Сударь кот», рассказы и «Сказание о граде Китеже». Написаны они были в 1913–1924 годах, в одно десятилетие, но сколько событий оно вместило — в жизни страны и в жизни автора: начало Великой войны, как справедливо называли Первую мировую, крушение Российской империи, две революции, Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов и восстановление Патриаршества, Гражданскую войну и гонения на Церковь. Автору, одинокому больному человеку, уже известному писателю и деятелю Серебряного века, тоже выпало на долю немало: судьбоносная поездка с матерью в Оптину пустынь накануне ее смерти (в те годы он мечтает о монашестве и не получает на это благословения), закрытие Троице-Сергиевой Лавры и работа по спасению ее культурных сокровищ, принятие священства в столь непростое время в храме Николы в Клённыхках у старца Алексия Мечёва по благословению оптинского старца Анатолия (Потапова), арест, ссылка в Челябинск.

Творчество С. Н. Дурылина велико и разнообразно: им было создано более 800 статей и множество книг об артистах, писателях, художниках, воспоминания, романы, повести, рассказы и стихи. Книги

и статьи эти найдешь только в больших библиотеках, ведь они выходили не меньше полувека тому назад, а многие — и больше ста лет. Замечателен его роман-воспоминание о семье, родителях, няне «В родном углу», книги о классиках — Лермонтове, Гоголе, Лескове, огромная монография «Русские писатели у Гёте в Веймаре», где много открытий, две книги о Михаиле Васильевиче Нестерове, дружба с которым продлилась несколько десятилетий. Рассказы и эссе в духе Серебряного века, очерки о путешествиях по Русскому Северу, статьи о русской иконописи, тогда только что открытой на удивление всему культурному миру. Многое еще лежит в архивах и, появляясь в печати, радует нас.

Начиная с 2000 года наследие Дурылина стали переиздавать, вышел роман «Колокола», появились статьи о нем самом и его творчестве. Недавно вышла его биография в серии «Жизнь замечательных людей». Но всё же знают о нем мало, и сравнительно немногие, — такой выбор сейчас книг, и тиражи небольшие. А жаль, Сергей Николаевич Дурылин — яркий писатель, замечательный ученый-театровед, историк литературы и очень интересный человек.

На жизненном пути Сергея Николаевича было много разного, трудного, сложного. И откликами на события, и впечатлениями его жизни «прошито» его творчество. Дурылин родился в московской купеческой семье. Еще в отрочестве Сережи его отец разорился и умер, мальчик остался с матерью и братом. Из гимназии Сережа ушел после шестого класса — из-за казенной муштры, а также отказавшись от обучения как «привилегии, которой лишена большая часть народа», — сказало влияние толстовства, которому он отдал немалую дань. В юности Дурылин

увлекся революционным движением, отошел от него после гибели ближайшего друга, участника боевой дружины. Потерял веру. Преподавал, работал в толстовском издательстве «Посредник», ездил в Ясную Поляну. Потом было обучение в Археологическом институте, начало возвращения к вере, поездки на Русский Север, прикосновение к тому миру, где был жив уклад Древней Руси и где особый строй людей и природы.

В Москве Дурылин сближается с кругом писателей Серебряного века — Андреем Белым, Эллисом, а затем и с Религиозно-философским обществом памяти В. Соловьева, секретарем которого он был в 1912–1918 годах, до его закрытия. Литературные труды, доклады, переводы принесли Дурылину немалую известность, получил он признание и как талантливый педагог (его учениками были Ильинский, Пастернак). Постепенно Дурылин сближается со славянофильским и церковным кружком Новоселова.

В 1913 году попадает в Оптину пустынь к старцу Анатолию, чье духовное наставничество во многом определяет его дальнейшую судьбу. После революции живет в Сергиевом Посаде, общается с о. Павлом Флоренским и В. В. Розановым, чья творческая отзывчивость на события жизни близка Дурылину. Присутствует при кончине Розанова.

В 1920 году Дурылин становится священником, приняв целибат, и начинает служить в храме известного московского старца Алексия Мечёва. Летом 1922 года его арестовывают, сам Дзержинский требует наказать партийцев, просивших за Дурылина. После года тюрьмы, будучи выслан в Челябинск, Дурылин работает в краеведческом музее. В помощь ему отец Алексей посылает энергичную

прихожанку Ирину Алексеевну Комиссарову, напутствуя ее словами: «Береги его, он нужен людям». Она становится на всю жизнь ангелом-хранителем Сергея Николаевича.

По возвращении в Москву в 1924 году Дурылин продолжает литературную и педагогическую работу, но в приход Никольского храма не возвращается. В Крыму знакомится с Волошиным и художником Богаевским, работает в Абрамцеве и Муранове, музее Тютчева. Вновь арестован в 1927 году, сослан в Томск, где работы не имеет, живет тяжело, болеет. Через три года переезжает в Киржач, много трудится там как историк литературы.

В 1934 году, устав от гонений, Дурылин решается на гражданский брак с Ириной Алексеевной (от него требовали отречения от сана). Внешне жизнь налаживается, удается построить дом в Болшеве. В нем проходят почти двадцать лет, наполненные самым интенсивным творчеством. Там он и служит тайно для своих ближайших друзей, но вне общины храма, ушедшей в подполье. Теперь он хранитель и певец традиций и наследия русской культуры, несет ее память и дух новому читателю.

Дурылин пишет о Малом и Художественном театрах, многие из артистов становятся его друзьями, а некоторые, вероятно, и духовными детьми. Широко открыты всегда двери его дома, многим он помогает — и материально, и духовно. Известно, что перед смертью Дурылин встречался для исповеди с отцом Стефаном (Никитиным, позже епископом), близким еще по храму в Клённыхах. Умер писатель 14 декабря 1954 года.

В сборнике «Тихие яблони» представлена одна из граней многообразного творчества писателя.

Семейную повесть «Сударь кот» Нестеров считал лучшим творением Сергея Николаевича. В статье тех лет Дурылин сетовал: «До чего же мало храма в русской литературе!.. Как будто ни его, ни того, что около него и от него, никогда и не было в России... Так у всех, кроме Достоевского и Лескова». Восполнить этот пробел и призваны эти повесть и рассказы. Расположены они в книге в обратном хронологическом порядке — от более поздних к ранним, начиная с самых углубленных в жизнь Церкви. На первый взгляд они покажутся несколько стилизованными — «что-то знакомое, где-то встречалось». Таков любимый прием Серебряного века, стиля модерн: многое тогда извлекли из забвения и открыли, стилизации были уместны, любил этот прием и Дурылин — быть в тени великих. Но ведь в его дни отраженное в текстах хоть и уходило из жизни, но еще бытовало.

Замечателен язык Дурылина: сочный, красочный, «смакующий» слова и оттенки, читать его — удовольствие, роскошь. Он гордился тем, что москвич, наслаждался московским говором.

В большинстве произведений есть дорогие автору воспоминания. В повести «Сударь кот» сюжет — нередкий для XIX века жизненный узел, как у Тургенева. Глубокие сцены духовной и душевной жизни: истовый православный быт купечества, монастырь, духовное искушение почтенной монахини «суеюй всего», чтение Псалтири у гроба любимого, «оптинская» любовь к людям и миру Божьему в старости. Из биографического: «мир шелка» и художественный вкус хозяина и его воспитанника, икона Спаса, перед которой хозяин подводит итог дня, — взято из ранних воспоминаний об отце и его

«художестве». Еще и задание — показать в должном свете купеческий мир с его Третьяковыми и Мамонтовыми, вопреки одному лишь «темному царству» Островского.

Рассказ «Сладость ангелов» напоминает поначалу одновременно Лескова и Достоевского: церковный быт и трагедия безверия. Но за этим — пронзительный личный опыт — потери веры и с нею смысла жизни. Опыт убивающей веру казенной схоластики на уроке Закона Божьего в гимназии — ее не смог «оживить» даже умный и искренний батюшка, с которым автор дружил потом долгие годы. Тихий плач от стыда перед матерью за свое безбожие и от жалости к ней — уткнувшись лицом в стенку, но не выпуская из рук безбожной книги. И ее молитва за дверь: «Помоги, прости, вразуми...» И ни слова упрека — ни сыну, ни его друзьям-атеистам. Фундамент веры, на всю жизнь заложенный няней в родном доме, — это спасительный и дорогой опыт связи с народной, немудрствующей верой, далекой от умствований и гордыни людей ученых.

Рассказы «Бабушкин день» и «Троицын день» окунают нас в дворянский мир и в мир странничества. Усадьбы в то время еще были рядом, жили своей веками устроенной жизнью, а со странниками Сергею Николаевичу не раз доводилось беседовать в Оптиной пустыни и Москве. Но тот уклад, те явления старинного русского быта уже ощущались писателем как уходящие, отсюда и грусть, которой пронизаны рассказы.

«Сказание о граде Китеже» — стилизация притчевая, древнерусская, вроде рисунков Билибина. Дурьин мог слышать подобный сказ, былину во время

своих путешествий по Северу, в обычной северной избе, где они сочинялись и пелись. Таковы «подкладки» его рассказов, а «лицо» их нам напоминает о Шмелеве (эмигрантском), о Лескове и Серебряном веке...

Писать о С. Н. Дурылине, представить его вам — для меня радость. В детстве бабушка нам рассказывала о московском старце Алексее Мечёве, о его храме Николы в Клённиках в начале улицы Маросейки. Отец Сергей Дурылин занимался там с детьми, эти занятия посещала мама с младшими сестрами. Часто он заходил после службы отдохнуть к нам в дом в Архангельском переулке, рядом с Меншиковой башней. Бабушка вспоминала, как провожали его в ссылку, собирали посылки, писали ему письма. После ссылки он учил литературе маму и нескольких девочек в домашней школе (где не было глумления над верой, которое уже начиналось в советской школе). Ставили спектакли по Крылову. У Сергея Николаевича было ценное для педагога качество — он умел дружить со своими воспитанниками, а они любили и всегда помнили учителя.

Как-то в девятом классе мама свозила нас с братом и сестрой к нему в Болшево. Иногда в те две зимы, его последние, меня брали в Дом ученых на вечера, организованные Сергеем Николаевичем по случаю памятных дат, с его докладом и небольшим концертом. На одном из таких концертов я слышал, как Дмитрий Журавлев читал «Осень» из «Евгения Онегина». Исполнение произвело на меня сильное впечатление, я выучил отрывок и читал его, подражая артисту.

Помню рано утром звонок из Болшева о его кончине.

Вспоминая Сергея Николаевича, видя, что издаются его книги и в наши дни, я неизменно испытываю радость — за него, за непропавшие труды его и за нас, потому что читать дурылинскую прозу, наслаждаться дурылинским языком — дорогой подарок. Кусочек творчества писателя и священника отца Сергия Дурылина доходит теперь с этой книгой до вас. Кусочек светлый, добрый, немало в нем тишины и покоя душевного — того, что сам он так искал и ценил. Желаю и вам радости от этого дара, что дает нам Начальник Тишины.

Георгий Ефимов

СУДАРЬ КОТ

Семейная повесть

Михаилу Васильевичу Нестерову

Часть I

1

К бабушке, к матери Ирине, в монастырь мать ездила несколько раз в году на повиданье и на прошение ее иноческих молитв всему нашему купеческому дому, но нас, детей, к ней брали не всегда, а непременно на Ивана Постного, двадцать девятого августа, на храмовый монастырский праздник. К этому дню готовились и мать, и мы. Мать вынимала из комода замшевую книжку с белым генералом на скале, вышитым шелками, и сверялась, что́ наказывала ей привезти к празднику мать Иринея.

Купленное она вычеркивала, а некупленное подчеркивала двумя чертами и ездила по лавкам все сама, чтобы все купленное шло в монастырь из собственных, из родных рук, с доброхотством, а не из чужих, из наемных: «Из своей руки и то же яблочко — да наливней, и тот же мед — да сахарней». Покупки все складывались в диванной, что была возле спальни, но в эти дни, перед Иваном Постным, «диванной» не бывало. «Куда нести?» — спросит няню артельщик с кульком. «В матушкину комнату!» — и все понимали уж, что нести в диванную. Мать входила в «матушкину комнату» и, оглядывая

зорко кульки, коробки и «штуки», справлялась с «белым генералом», все ли припасено к завтрашнему. Мы, брат и я, присутствовали при этом. Иногда мать обращалась ко мне:

— Сережа, не помнишь, — у тебя память помоложе, — в прошлый раз, как были мы у тетушки, отвозила я репсу на воздухе? Что-то я запамятовала.

Репс — это шелковая материя, рубчиками, я его знал: у меня продавался он в игрушечной лавке. Мой репс был лоскуток от того, что отвезли в монастырь, и я твердо отвечал:

— Отвозили, — и ждал, что еще спросят, а брат, щуря глаза и заводя свои крупные карие кругляшки в сторону, что строго запрещалось, прибавлял:

— Еще кот бабушкин когтем тогда в шелку увяз!

Мать улыбалась на его слова, не отрываясь от книжки, но, заметив, куда ушли его карие кругляшки: «Вишенки! Вишенки! Вася, дай съем твои вишенки!» — строго сдерживала его:

— Пойдешь в угол, если будешь глаза заводить! И не возьму к бабушке. Не смей!

В угол — было не страшно, не очень страшно, только бы не в зале, где пусто и в углах — зелень, сёрень и нечисть, — но «не возьму к бабушке» — это было так страшно, что брат сразу останавливал зрачки посередине, будто они застыли у него, и около «вишенок» делалось что-то мокро.

Но мама опять смотрела в книжку:

— Что не припомню, то не припомню: сколько тетушка просила шафрану — фунт ли, два ли?

Шафран не продавался в моей лавке; я равнодушно молчал и подбрасывал, подхватывая в горсть, толстое и крепкое, как маленький арбуз, яблоко, которое мне подарили в фруктовой лавке.

— Переели сегодня яблок, — замечала мать. — Это не игрушка. Или убери на послезавтра, или съешь сегодня. А завтра нельзя есть.

— А почему? — спрашивал брат.

Я знал, почему нельзя, но молчал, потому что мне хотелось еще раз услышать все. От этого рассказа всегда возникала жалость на сердце, а жалеть так сладко, и так грустно замирает тогда сердце. Я уже знал эту сладость и грусть, хотя и не знал, что это называется сладостью и грустью.

— Завтра у бабушки спроси.

— Нет, мама, скажите.

— Бабушка лучше скажет. Я еще фрукты не проверила.

Но брат уж охватывал ее лицо руками, и она сажала его на колени, а я садился у ее ног, на синий коверчик, и она рассказывала. Я не все помню из ее рассказа, но то, что помню, помню точно и ясно, как шахматные клеточки синего с желтым коверчика, на которые смотрел, когда слушал ее рассказ.

— ...Ударили в бубны, пришли плясавицы, пляшут, а царь скучен. «Пляшите веселей!» Отвечают плясавицы: «Не можем плясать веселей. Пусть заиграют во свирели». Заиграли во свирели...

— Как пастух? — прерывает брат.

— Нет, не как пастух, а по-другому. Заиграли во свирели. Плясавицы пляшут, а царю скучно. «Пляшите веселей». — «Не можем плясать веселей: забейте в барабаны!»

— Как солдаты? — опять спрашивает брат.

— Нет, не так. Молчи; слушай. Забили в барабаны. Пошли плясавицы в пляску. А царь скучный. Почему царь скучный? «Плясавицы, пляшите веселей!» — «Не можем плясать веселей. Не знаем, подо что плясать».

— Под трубу! — отвечает брат.

— Тебя не спросили. Был пир не весел. Встает тут девица, Иродиади́на дочь, говорит: «Буду я плясавицей. Развеселю царя». И стала девица плясавицей.

На этом прерывается моя память. Оживает на другом:

— ...И приходят к царю и говорят: «Не гневайся, царь. Нет в твоей казне блюда, что бы вместило Предтечеву главу. Все малы». — «Ищите лучше», — отвечал царь. Искали слуги, не нашли блюда под Предтечеву главу. «Не нашли, царь, блюда: твои легки, не выдержат Предтечевой главы». Молчит царь в страхе. Встает плясавица, оком ярим на слуг посмотрела и говорит: «Найду я под ваши головы, под каждую, а под Иванову главу недалеко ходила — нашла. Вот вам мое блюдо, — и подает им блюдо золотое, что пред нею на столе для яств стояло. — Принесите мне на нем Иванову главу...»

Опять прерывает тут память мамин рассказ. А брат не прерывал его уже никакими вопросами. Он теснее прижимался к маме и хватался рукой за ее руку, и уже не отпускал ее, и жался к ее плечу.

— ...Ангелы Предтечеву главу в землю скрыли, пустыня ее травой зеленой прикрыла и украсила алыми цветами. В Предтечев день алые цветы не рвут: кто сорвет, тому цветок алой кровью капнет. В Предтечев день круглого не вкушают; как принесли плясавице честную главу, пир в конце пира был: пред всеми гостями на серебряных блюдах плоды круглые лежали из царских садов наливные, а перед плясавицей на пустом на золотом ее блюде честную главу положили. Царь в пущем страхе сидит; гости молчат; остановился пир при самом конце. Говорит плясавица: «Что ж вы, сладчайших

плодов из царских садов не вкушаете? Аль не сладки?» А глянула — на блюдах у гостей не круглые плоды, а мертвые главы...

Тут молчали мы все трое.

Мама спускала брата с колен, целовала в лоб его и меня и говорила:

— Ну, идите в детскую, и не надо вам в нынешний день и завтрашний ссориться. День этот — страсти Предтечевой. Страшный это день. У бабушки будьте тихи. Бабушку не беспокойте.

Мы шли в детскую, а мать оставалась в «матушкиной комнате» и проверяла покупки. Отец приезжал вечером из города и перед всенощной заходил в диванную вместе с матерью.

— Все в порядке? — спрашивал он.

— Кажется, что так, а не поручусь, что чего не была.

— Ну уж, матушка, вспомни. Иван Постный один в году бывает.

— Вспомнить-то вспомнила, да придется завтра, перед монастырем, в лавку заезжать.

«Лавка» — это был наш оптовый магазин в городе, а если говорили «лавки», «поехать в лавки», то это про чужие.

— А что?

— Да сегодня только вспомнила, — мать улыбалась широкою и долгою своею улыбкой: она была долгая, потому что, раз появившись на ее некрасивом, умном лице, долго оставалась на нем и делала его привлекательным и грустным. — Тетушка в прошлый раз наказывала мне, даже удивила меня: «Привези ты, — говорит, — мне, матушка Аночка, палевых лоскуточков шелковых всяких поболее, что к канарейке ближе». — «На что же, — спрашиваю, — вам,

тетушка, канареечных?» — «Я палевый узор подбираю из шелков: чайную розу хочу шить по стальному фону на пелену к Феодоровской Владычице». Удивила она меня. В шестьдесят пять лет — палевую розу! Ведь на это надо глаза мышиные.

Отец увязывал какой-то развязавшийся кулечек и отвечал:

— Сколько она этими мышиными глазами слез-то молодых и старых пролила! Нет, не глаза, а корень у них, старозаветных, крепок, корень без пороку. Дубы и кедры были, а ныне — осинки да ельничек. Нет, не глаза. Кедры да кипарисы были.

Он пробежал глазами замшевую книжку.

— И все это, что у тебя, матушка, здесь писано, все, как в сказке, по тетушкиным усам потечет, а в рот не попадет.

— Сама знаю. Все раздаст, рассуёт Пашам и Дамашам. Ей-то самой что бы такое привезть?

Отец махал рукой, левым плечом подталкивая дверь из диванной:

— Я тридцать лет над этим голову, матушка, ломаю — да так и не придумал ничего. Разве коту на печенку оставит, так и от той тетушка кота отучила и на монастырский стол его перевела. Матушка, я есть хочу. Скоро ко всенощной ударят, — доканчивал он уже за дверью.

Мать приказывала подавать обед.

2

На самого Ивана Постного мать и отец ходили к ранней обедне в свой приход, но молебна не стояли, отец, попив чаю с черными сухариками, посыпанными крупной солью, уезжал в город, а мать принималась за сборы к бабушке. С кулками, сверточками,

баночками, ящичками отправляли раньше всех няню Агафью Тихоновну.

Мы с братом, одетые в русские рубашки из синего шелку с вязаными серебряными поясками бабушкиной работы, выбегали на двор усаживать няню в пролетку, в которую Андрей-кучер запрягал самую смирную лошадь — каурюю Хозяйку, и за кучера садился второй дворник Степан, молчаливый вдовый мужик, который в этот день и в кухню не заглядывал, чтобы не замарать новую кубовую рубаху, и на кухаркины требования принести в кухню то-другое отвечал неизменно:

— Сами принесите-с. Я сегодня под нянюшку.

Няня, с помощью Степана, горничных и нашею, усаживалась в старинную, «вторую» пролетку, в которой ни отец, ни мать уже не ездили, — и ее со всех сторон обкладывали поклажей для бабушки. Мать выходила на крыльцо и поминутно опрашивала няню:

— Тихоновна, дюшес не тряско поставили?

— Тихо будет-с, — отвечал Степан.

— Банки-то не перебить бы с грибками, с рыжиками, с дынным вареньем.

Но горничная Стеша уже совала няне старую шаль, и банки, поставленные в задок пролетки, окутывали шалью, чтобы не бились бок о бок. Няня заботливо все озидала, сидя в пролетке, и шептала Стеше:

— Слава Богу, дынь не беру, по нонешнему дню, а то дыни-то ведь быюны быюнучие: живо перебыются.

— Довезете все, даст Бог, в целости.

А в это время брат тянул из корзинки веточку лилового винограда; няня его хлопала небольшо по руке:

— У бабушки поешь. Запылится виноград.